

РАССКАЗЫ

ЕВРОПА, ЧЕРТ ПОБЕРИ!

Дух, дух!.. Дух града сего переимчивый, дух града извратный, дух умножающий! Если что-то град сей переймет, так извратит, исказит тотчас же, так тотчас же приумножит! Чужое налипает на нем, как ракушки! Он уж и сам сделался будто огромной ракушкой, обросшей другими ракушками. Мало в граде осталось первоначального, полон он постороннего, полон он приносного.

Был я в разных городах Европы и дивился порою тому, как там бережно собирают обыкновенный мусор, с какою скрупулезностью тамошние обыватели сортируют свои отходы, излишества: бумагу отдельно, пластик отдельно, отдельно пищевые остатки, и даже стекло, предназначенное на выброс, подразделяют на светлое и темное. По пять-шесть разнообразных контейнеров стоит во дворах цивилизованных европейцев; и ведь не дай бог выкинуть что-то не туда!

Вот и до нас это дошло, вот и до нас докатилось. Может, и хорошо, может, и из нас что-то получится!..

Если, конечно, град сей не переиначит! Если, конечно, человек наш не извратит.

Лениво мои мысли текли, когда на скамье я сидел под несмелым апрельским солнцем за стадионом «Петровским», по Ждановской набережной далее. Косые тени раскинулись по асфальту, досадные, будто пролежни. Мимо неслись автомобили, я же был в сквере, несколько в глубине его. И наблюдал я огромный зеленый «контейнер для темного стекла», с люками с плотными шторками. Люки были похожи на иллюминаторы и размещены несколько высоковато; низкорослому, пожалуй, и не дотянуться.

Выходят со стадиона, пьют пиво, много пьют пива, для того и контейнер.

Этот же не со стадиона, этот просто бродяжка.

Но тоже пил пиво.

Вида дураковатого, сам весь белесый, в белой, но замызанной курточке, волосы светлые, небритый, а тут еще и солнце высвечивает. Все, на что попадает.

Идет и бормочет. То ли песню, то ли стихи. То ли просто матерится с беззлобностью. Дурачок, что с него взять!

А еще курточка на груди у бродяжки полураспахнута, из-под курточки кошка высунулась. Белая. Носик розовый.

Сiju, смотрю на бродяжку. Есть за что зацепиться глазу. Уму, пожалуй, и нет.

— Кисонька, кисонька, а вот мы тебе и молочка-молочочка! — бормочет белесый человечек.

Тут он вынул кошку из-за пазухи, слюняво поцеловал в носик, будто попрощался, и — р-раз! — сунул ее точнехонько в «иллюминатор». А сам стоит, отхлебнул пива и хохотком заливается. Весело.

Станислав Иванович Шуляк — прозаик, драматург. Автор девяти романов, в том числе «Кастрация» и «Лука» («Амфора», 2003). Призер фестиваля короткой драмы «One Night Stand» (Москва, 1–2 апреля 2005 года). Публикации в «Литературной газете», «Ex libris НГ», в газете «Петербург экспресс», журнале «Нева».

Что тут произошло! Должно быть, в контейнере были бутылки битые, и кошка распоролла себе лапку о стекло, не иначе. Она завыла, гулко, низко, истошно. Ужас, видать, объял ее темную душу кошачью. Ведь есть же душа у кошки, не может не быть души! Все живое душою наделено. Кто-то давным-давно распорядился о том, и вот с тех пор так оно и делается, по предписанному, по предназначенному, по заведенному.

Я похолодел. Живое существо — и этак с ним обойтись! Что за подлая в том безжалостность, что за гадко здесь сумасшествие! Я выхватил телефон из кармана.

— Ждановская набережная!.. За стадионом! В сквере!.. — приглушенно крикнул я в трубку. — Срочно! Глумление над живым существом!

— Над каким именно? — был лишь вопрос.

— Над кошкой! Над кошкой! — крикнул еще я. — Разве это имеет значение? Надо спасать! Она в контейнере со стеклом, она кричит! А вокруг люди ходят! Иностранцы и дети! И старики! Что будут про нас говорить — представляете? А контейнер закрыт! Как будто бы полон драгоценностей! Вы видели у нас контейнеры, полные драгоценностей? — спросил я.

— Выезжаем!

— Скорее! Он уходит! Злоумышленник! Я постараюсь задержать! Он, может, и сумасшедший, но тут уж вы сами должны разобраться! Я в этом не компетентен! — крикнул я.

— Через три минуты. Машина будет.

Дурачок допил пиво и, разувывавшись, сунул бутылку вслед за кошкой. Четверолапая взвизгнула и загудела с глухой обреченностью. Я был на ногах, я был в ярости.

— Эй! — крикнул тогда.

У дурачка выскользнула изо рта несанкционированная слюна. Он собирался уж уходить, но остановился.

— Это ведь кошка? — с угрозой спросил я.

— Шапку носил-носил, а потом тепло стало, шапку снял, а она калачиком свернулась, пушистая вся, и к щеке ластится, — быстро и бессмысленно ответил бродяжка.

— И она кричит! — сказал я с угрозой даже большей. — Ты слышишь?

— Шапки не кричат — только шепчут, когда гладишь, и еще муркают жалостно.

— Она тебе муркала, муркала, а ты как с ней обошелся?

— Пойду я, дядя, пора мне, — обреченно сказал дурачок.

— Нет, ты не пойдешь! — крикнул я. — Что это станется, если все, сотворивши бесчинства, будут просто себе уходить, как будто их ничего не касается?!

— А я пойду, молочка попью, тепленького: горлу маетно. Простуженный я. Мама у меня...

— Стой! — крикнул еще я.

— Стою я, а стоять не хочется, и ножки притомились, и в груди стеснение!.. Пусти, дядя!

— Ты дурака из себя не строй! — сказал я еще. Уже менее уверенно. Ибо кто же он, как не дурак! Да-да, он — безжалостный дурак! Мир полон дураков, иные из них и безжалостны.

— И голова без шапочки пристыла — домой надо!

— Сейчас-сейчас, будет тебе — «домой»!

— Домой, домой надо!..

И тут вдруг — о, чудо! О, прогресс! — увидел я две полицейские машины. Они неслись в нашу сторону, с мигалками, с сиренами. Я на мгновение возгордился и этим городом, и этим миром, и этим порядком: никогда не видал я прежде такой отзывчивости, такого радения, такой стремительности. Неужто и вправду страна сия начинает выздоравливать?

— Сюда, сюда! — замахал рукой я.

Полицейская машина остановилась, за нею вторая.

— Здесь опасный дурак! Вот он! — крикнул я. — Здесь истязание и беззаконие! Там контейнер, и в нем кошка!

Полицейские разделились. Часть из них бросилась к указанному мной контейнеру, другая — к указанному мной дураку.

Я взирал то на контейнер, то на бродяжку. Последний же явно взволновался.

— Стоять! Стоять! — кричали ему.

И тут же повалили на асфальт лицом вниз. Люблю в служивых людях этокое рвение. С кошкой вышла картина не в пример умильная. Контейнер вскрыли, кошку приманили, и вот один молодой полицейский на руках понес ее в нашу сторону.

Лапки у животного и впрямь были окровавленными.

— Твоя работа? — решительно спросили у дурака.

— Его! — уверенно подтвердил я.

— Шапочку, шапочку с головы спуло! Без шапочки голове холодно, — слюняво забормотал дурак, кивая головой.

Бродяжку потащили к машине, сзади шествовал полицейский с раненой кошечкой. Голову дурака пригнули, чтобы он не зашибся, в машину заталкиваемый. Я тоже понемногу пошел себе следом — ведь мои показания могли бы еще и потребоваться.

Но тут все переменялось. И дурака в машину не затолкали, и справедливость не восторжествовала. Как мне уже изрядно мерещилось. Переменялось же от усердия одного подлого старика, на скамейке сидящего. Я его прежде, признаться, даже не замечал. Может, прежде и не было никакого старика на скамейке.

— Стойте! — вскричал вдруг сей залежалый раритет. — Это все не так! Вы ошиблись!

— Что такое? — скинулись полицейские.

— Сей гражданин нарочито ввел вас в заблуждение! — молвил ехидно старик, указуя на меня своим крючковатым перстом.

— Говорите! — велел главный из полицейских.

— У того-то, что вы в машину сажаете, — приосанился старец, — дух простой, беспричинный — сами ж видеть должны, это человек без зла и ответа...

Тут дурака перестали в машину заталкивать и даже подвели к нам ближе.

— Этот к святотатствам нисколько не склонен, об том даже предполагать-то не следует!.. В отличие, скажем, от этого! — тут старичок повернулся ко мне с некоторою даже свирепостью. — А вы на него зато взгляните попристальней! — добавил еще сей неизжитый увальень. — Вы его дух рассмотрите!

Полицейские стали послушно рассматривать меня (не знаю уж, какой они во мне увидели дух).

— Видите? Видите в нем норов искажительный, лживый? — возбужденно молвил старик. — Вы на простого парнишу подумали? Да нет, он шел, кошечку нес, гладил ее да целовал. А тут появился этот... ворог... выхватил у парниши из рук животину и злобно ее в контейнер швырнул. С битым стеклом!

— А зачем же он нам позвонил? — усомнился справедливости ради один полицейский.

— Из подлости! — недвусмысленно старик отвечал. — Из клеветы да напраслины.

Впервые в жизни я видел сего старика. Что уж такого я мог ему сделать, чем мог обидеть его, что он теперь так беззастенчиво лгал на меня?! Ничего, ничего! Быть может, разве что только прежде его не заметить! Не в этом ли скрывалась обида? Но в чем же здесь таковая — ведь всех стариков невозможно заметить, не стоит даже пытаться! Старик же, старик лгал на меня, старик супротив меня подличал.

— Что? — вскричал я. — И я вынужден все это выслушивать!

— Твое животное? — спросили у дурака.

— Шапочка пушистая, мягкая, ой спасибо, спасибо! — забормотал тот, и ему вернули кошку.

— Он ее в контейнер сунул? — спросили еще у дурака, показывая на меня.

— Он такой... такой... взял у меня и сам сунул!

Блаженный гнул свою фантастическую линию с подсказки лжеца.

— Подтверждаете? — спросили у старика.

— Я еще и с вами поеду, чтоб правдивые показания дать! — горделиво молвил тот.

— Истязания, клевета, оговор, ложный вызов, — гудели полицейские.

Меня повалили лицом на асфальт. Я хрипел и вырывался.

— Сопrotивление, неповиновение, криминальный умысел...

Меня подняли и потащили к машине. Боюсь, что изо рта моего тут стали вырываться некоторые неправильные слова вместе с брызгающей слюной.

— Охальник, охальник! — пояснял шествующий за нами старик с некоторой удовлетворенностью. — Теперь вы осознали все его умыслы?

Непокорное и охальное, быть может, и впрямь исторгалось из меня. Голову мою пригнули, когда меня вталкивали в машину на место, прежде предназначенное для дурака.

Я обернулся. Старик и дурак с кошкой в руках подходили к другой машине. У меня еще мелькала надежда оправдаться, поразить всех блеском собственной нерассудительности, своими гремучими умыслами, саркастическими частями речи и членами предложения. Парадигмами да артикуляциями.

Но тут машина тронулась с места, набрала ход, навстречу нам понеслись столбы да ограды, поребрики и рекламные тумбы, человеки и голуби и всевозможная иная пернатая шушера, перекрестки и автомобили, атмосфера и балюстрады, рестораны, аптеки и сизая водная гладь. И надежда, надежда рассеялась, будто она была дымом, будто и не было ее никогда. Хорошо жить без надежды, человекам и следует жить без нее.

И град сей тоже без надежды! Однако же дух его лжив и извратен, криводушен и промозгл, каверзен, заносчив, злонравен. Захочешь восхититься градом сим и — не сумеешь! Захочешь удивиться и — претерпишь неудачу! Зато содрогнешься им, ошеломишься им, отшатнешься от него, извергнешься из оногo. И человеки со словами их мизерными в граде том двоедушны, запальчивы, казуистичны, плотоядны. А других в нем, кажется, и нет вовсе!

Дух, дух!.. Дух града сего!..

МАНСАРДА

Я так и был настроен сегодня на что-то гадкое и безобразное. Сам не знаю отчего. С утра уже чувствовал, что душа в день сей непременно возмутится миром и человеком, отторгнет, оттолкнет оных, изобретет какие-то новые способы поношения их. В моих же предчувствиях есть, должно быть, что-то докультурное, первобытное. Я люблю иногда угадывать в себе сверхъестественное, атактистическое, подспудное, невыношенное.

Я заметил ее неподалеку от себя, когда собирался перебежать через Московский проспект, в сотне метров от Сенной площади. Она смотрела на меня, но тут же отвела глаза, когда увидела, что я обратил на нее внимание. Знаю ли я ее? Уверен, что нет. Она меня знает? Черт, если теперь раздумывать об этом, можно угодить под машину.

Я побежал через проезжую часть, транспорт как раз приостановился, и я успел оглянуться. Она, эта дамочка лет тридцати, в светлом плащике, упорно не смотрела в мою сторону, но вдруг, покрутив головой вправо-влево, небольшими, детскими шажочками побежала за мной следом.

На другой стороне проспекта я хотел было положить конец всяким загадкам. Но эта дамочка, тоже перебежав вполне успешно, застыла возле витрины магазина, что-то там якобы разглядывая. Какова сыщица! Не подкопаешься! Черт побери, я бы вывел ее на чистую воду, но у меня — работа, у меня — интервью.

Дверь хлопнула, я стал подниматься по лестнице. Лестница была широка, на этажных площадках можно кататься на велосипеде. Тут дверь внизу снова хлопнула. Почему-то я этому даже не удивился. И мне не надо было оглядываться, чтобы узнать, кто поднимается позади меня. Разумеется, та самая дамочка — кто же еще?!

Я остановился, вытащил телефон и сделал вид, будто отыскиваю что-то в нем или собираюсь позвонить. Скосив глаза, я увидел, что и дамочка в точности повторила мой маневр. Она не хотела обгонять меня. Она хотела идти за мной следом. Смешная, нелепая игра!

— Вы преследуете меня? — спросил я.

— С чего это вдруг? — удивилась та. — Обычно мужчины преследуют женщин.

— Ну, так идите! — сказал я. — Вы же идете куда-то?

Это вышло грубо. Да и глупо, разумеется.

— Нет уж, теперь только после вас, — ответила она вполне хладнокровно. — Откуда мне знать, кто вы такой!..

Я оставил возню с телефоном, снова зашагал по лестнице. И дамочка за мной следом. Теперь уж не таясь. Шла себе спокойно тремя ступеньками позади меня.

Третий этаж здесь — последний жилой этаж, но еще была небольшая деревянная лестница, ведущая выше. Я поднялся по этой лестнице, поискал кнопку звонка — не нашел и тогда застучал кулаком в железную дверь мансарды.

Дамочка постояла у основания этой приставной лестницы, потом стала медленно подниматься.

— Вы тоже сюда? — спросил я с некоторым ожесточением.

— Почему бы и нет? — ответила дамочка.

— Здесь — мастерская, здесь работает художник, у меня — встреча, деловая, я заранее договорился... — я стукнул еще несколько раз в дверь.

Дверь раскрылась. На пороге стоял бородатый и пузатый дядька лет шестидесяти, растрепанный и с выпученными глазами.

Художники! Ничего в них нет особенного, а повидал я их немало. Пьяницы, лоботрясы, недалекие люди, никогда ничего в жизни не сделавшие полезного, не считая писания своих картинок, но уж это за полезное я посчитать никак не могу. Даже самые знаменитые из них. Эти ничуть не лучше. Ну да ладно, это я так просто, с досады! Это я к слову!.. Дядька, стоявший передо мной, явно был с изрядного похмелья. Он шумно и плотоядно сопел и смотрел неприязненно.

— Художник Волатов? — спросил я. Что поделаешь: я — гость, мне и вести разговор.

Тот посмотрел на дамочку за моей спиной, потом на меня.

— Кто? — спросил он.

— Фамилия моя — Макаров, я на радио работаю.

— Имя как?

— Андрей, — несколько замялся я.

— Мне другое называли, — отрезал пучеглазый дядька, собираясь захлопнуть дверь прямо передо мной.

— Пойдите, — сказал я. — Вам звонила моя начальница, сначала действительно должны были прислать другого журналиста, Пигольцева Лешу, но он заболел, у него пошла кровь носом, даже «скорую» пришлось вызвать, и вот тогда отправили меня. Я ничуть не хуже, у меня есть опыт, я разбираюсь в живописи...

— Начальницу звать как?

— Тамара.

— А фамилия?

— Гневис.

— На радио работает?

— Да, моя начальница.

— Эта с тобой, что ли? — спросил он про дамочку.

— Я сама по себе, — тут же отвечала дамочка, приосанившись. — Почему я непременно должна быть с кем-то?

— И что теперь? — спросил художник с какою-то, кажется, озадаченностью.

— Да ничего! — сказал я. — Я пришел ради интервью, которое мне поручили сделать. И я его сделаю. Поскольку я — профессионал.

— А эта? — снова спросил тот.

— Знаете, просто невежливо — держать людей на пороге! — возмутилась вдруг дамочка. Она оттолкнула меня и, прошмыгнув под рукой дядьки, которой тот упирался в косяк, скользнула в мастерскую.

Мне, пожалуй, следовало бы поблагодарить ее за настырность. Потому что художник после такого вторжения впустил наконец и меня.

Мансарда, приспособленная под художественную мастерскую, была огромна, просторна, светла. Потолки под четыре метра. Окна выходили на крыши соседних домов. Но что-то в помещении мне все же показалось необычным, необъяснимым.

Не дожидаясь приглашения, я сбросил с себя куртку, достал диктофон. Здесь, похоже, вообще не следует ожидать ничьих приглашений.

Дамочка же, высмотрев скамью неподалеку, поспешила разместиться на той. Художник шагнул за дамочкой.

— Я здесь посижу, — сказала женщина.

— А вот сидеть здесь просто так не надо, — возражал пучеглазый дядька с некоторыми, пожалуй, грозowymi раскатами в голосе.

— Чего уж там! — примирительно возразила она. — Меня, между прочим, Олечкой зовут.

— А я — Игорек, — машинально отвечал дядька. — Но здесь просто так не сидят. Здесь люди работают.

— Работают, — кивнул головой и я.

— Работают, — прыснула дамочка. — И где же ваша работа?

— Сейчас будет, — сухо сказал я. — Игорек, начнем.

Художник оставил Олечку и переместился в мою сторону. Я преспокойно уселся за огромный самодельный стол, заставленный грязными стаканами, пепельницей с окурками, коим явно не давала покоя слава Эвереста; были еще там блюдо с печеньем, линейки, книги, бутылки с пивом, семечки, сухарики, рыбные очистки, некоторый художественный инструмент: кисти, карандаши, скальпели, массивная деревянная киянка и еще много-много всего в таком же духе.

— Что, начнем? — спросил он. Налил себе полный стакан пива и выпил размашисто.

Я открыл рот, чтоб ответить.

— А у меня никогда интервью не брали, — ввернула Олечка.

— В другой раз, — сказал я, не оборачиваясь в ее сторону.

— Может, тоже пива хотите? — спросил художник и сделал приглашающий жест.

Я взял другую бутылку и отпил прямо из горла.

— Игорек, — твердо сказал я, — понимаю: была трудная ночь, но сейчас уже день, надо работать, соберись, золотой! Давай поработаем!

— Давайте, — кивнул головой тот и стал грызть семечки.

Я включил диктофон.

— Вырубите эту мандулу, — неприязненно говорил художник.

— Игорек, — ласково сказал я, — я работаю на радио. На радио положено звучать. Музыка, человеческий голос, шумы — это все радио, и я все это записываю. Убери, пожалуйста, семечки, родной мой, семечки будут слышны.

Тот послушно отложил семечки и машинально потянулся за сухарем. Но наткнулся на мой твердый взгляд.

— Что, сухари тоже нельзя?

— Нельзя, — сказал я.

— Один, — попросил он.

— Один можно, — согласился я.

Я посидел, подождал, пока он догрызет сухарь.

Впрочем, я не молчал, отнюдь нет.

— Игорек, — говорил я, — это ведь не мне надо, это надо тебе, это у тебя открывается выставка через два дня — не у меня. Это тебе надо, чтобы о ней знали горожане. Мне-то ровным счетом плевать, придет народ на твою выставку или нет. Я лично на нее идти не собираюсь.

— На выставку? — насторожился вдруг Игорек.

— На выставку, — подтвердил я. — Ведь у тебя же открывается выставка через два дня?

— У меня?

— Нет, у Рембрандта. Конечно, у тебя, у кого ж еще?

— А, ну тогда конечно, — ответил тот и налил себе стакан пива.

— Ой, а я тоже пиво люблю, — сказала Олечка.

— Возьми бутылку, только тихо, и не мешай нам, — распорядился я.

Та схватила бутылку, опасаясь, должно быть, чтобы я не передумал, и убежала на свое место возле стены.

— Я только еще сухариков возьму! — тут же спохватилась она.

— Ладно, — тяжело вздохнул художник. — Врубайте свою мандулу.

— А я и не выключал ее.

— Как? — испугался тот. — Значит, все записалось? И семечки, и сухарь, и пиво?

— Абсолютно все! — подтвердил я. — «Мандуле» все равно, что писать.

— И ты там записалась! — крикнул художник Олечке. — Со своими сухариками. Поняла? Дура!

— Ой! Я ж не знала! Я не нарочно!

— Ладно, — сжалился я над обоими. — Я потом смонтирую как надо. Отрежу все лишнее.

— Слушайте!.. — встрепенулся художник. — А у меня уже брали интервью, прошлой весной, кажется. Из газеты приходили, у меня даже вырезка была, но потом я ее кофе залил — пришлось выкинуть.

— Игорек, — терпеливо сказал я, — это было год назад. Я не знаю, кто у тебя брал интервью. Если ты хочешь, чтобы я сейчас встал и ушел, я встану и уйду, и тогда на твою выставку может никто и не прийти. Напрасно ты думаешь, что твоя выставка — такое грандиозное событие, что журналисты выстроятся к тебе в очередь. Если бы не моя начальница, я бы даже не знал о твоём существовании. Да и то, мне кажется, ее решение сделать про тебя короткий сюжет было продиктовано какими-то личными мотивами, мне неизвестными.

— Выставка? — спросил художник.

— Так, — сказал я. — Может, мне дать тебе пощечину? Чтобы прочистить мозги.

— Дайте, пожалуйста, — кивнул головой мой собеседник.

Я осмотрелся вокруг. Мансарда была на моей стороне. Сам воздух казался мне здесь двоедушным, и все же ни стены, ни пол, ни воздух, ни окна не стали бы меня осуждать, что бы я теперь ни вытворил с этим чертовым Игорьком. Подлый, подлый Игорек!.. Но прав я, он не прав, это я знал точно.

Я размахнулся и залепил ему пощечину.

— Теперь понял? — сказал я.

— Можно еще одну? — попросил тот.

Я закатил ему еще пощечину.

Он встряхнул головой и сказал:

— Хорошо!.. Так что там у вас за вопросы?

— Неужели просветление настало? — закатил я глаза. — Наконец-то!

— Я бы ему еще сильнее врезала, — снова встряла Олечка. — Он же просто издевается.

— Так! — гаркнул художник.

— Тишина в студии! — повысил я голос. — Три, два, один, поехали! Я сижу в мастерской известного художника Игоря Волатова, я познакомился с ним только сегодня, но вот я зову его уже просто Игорьком, хотя он старше меня лет на двадцать пять, а то и на все тридцать, настолько он прост, человечен, естественен. У Игорька через два дня открывается выставка в одном из крупнейших выставочных залов города, и это-то стало поводом для нашей сегодняшней беседы. Игорек, отсюда мой первый вопрос: что для художника выставка?

— Выставка?

— Выставка.

— Выставка — это... ну как... можно, я еще пива? Стаканчик...

— Ой, ну дурак какой-то! — воскликнула Олечка и в сердцах шлепнула себя ладонями по коленкам. — Его по радио передают, а он про пиво долдонит!

— Последняя реплика принадлежит поклоннице художника Волатова, юной леди, каковую зовут Ольга, — невозмутимо продолжил я.

— Да ну, какая я поклонница? — отмахнулась дамочка. — Я его и вижу-то в первый раз.

— Не поклонница — так чего приперлась? — огрызнулся художник. — И еще обзывается!..

— Не приперлась, а пришла. И вообще я только по паспорту Ольга, а так все называют меня Олечкой.

— Внимание! — сказал я легированным голосом. — Продолжаем. Выставка — ведь не просто возможность показать свои работы последнего времени, это всегда — взаимный энергетический обмен творца с простыми людьми, его зрителями и слушателями, это возможность непосредственного контакта, это возможность услышать, объяснить, быть услышанным, увиденным. Так?

— Что?

— Я спрашиваю: это так?

— А, ну да, наверное.

— Исчерпывающий ответ. Вообще же мне оттого так легко общаться с Игорьком Волатовым, что я и сам в юности любил рисовать, кое-что даже получалось, но вот художником я не стал, а стал журналистом. Игорек же не стал журналистом или кем-то еще, а стал художником. Но миры художественного творчества с тех самых, с юношеских лет мне по-прежнему близки. И вот мой следующий вопрос: Игорек, что ты хочешь сказать зрителю своими картинами?

Тот не ответил, налил себе стакан пива и быстро-быстро выпил его, шумно и жадно глотая.

— Картинами? — только тогда переспросил он.

— Да, картинами. Давай мы сейчас подойдем к какой-нибудь из них и посмотрим, а ты нам расскажешь, что там изображено.

Я осмотрелся. Я не увидел ни одной картины. Ни на стенах, ни на стеллажах — нигде. Может, есть еще какое-то помещение, где, собственно, и хранятся картины, — подумал я. Я только теперь сообразил, чем меня удивила здешняя обстановка, — отсутствием хоть одного холста или картона, к которым прикасалась рука художника.

— Игорек, — сказал я.

— Да?

— Где у тебя хранятся картины? Не может быть, чтобы все они были отвезены на выставку? Должно же остаться что-то, и, я думаю, должно остаться немало.

— Картин немало?

— Картин, мы же говорим о картинах, не правда ли?

— О картинах.

— И где они?

— Выкинул.

— Выкинул картины?

— Выкинул, на что они? Нет, ну не сам, конечно. Жена-подлюка! Всё вынесла, порезала, попала.

— Все картины?

— Все-все до единой!

— Жена? Твоя жена?

— А то чья? Ваша, что ли?

— Но это ж беда, трагедия! Катастрофа!

— Конечно, трагедия! Столько лет работы, а тут раз — и все! Оглянуться не успел — а уж и нет ничего больше! Вот два дня отойти никак не могу.

— Но почему, почему?

— Это уж тебе лучше знать — почему!..

— Как это мне?

— Так тебе! А то сидит тут, вопросиками сыплет. Молоденький да хорошенький!.. Мерзавец этакий!.. А ведь это — святой человек!

— Кто — святой человек? — отчего-то с ужасом спросил я.

— То есть как это кто? — удивленно развел руками художник. — Жена моя.

— Жена? Так она ж только что подлюкой была! Она ж картины разрезала и попала!..

— Это от горя! — твердо говорил Волатов. — От униженного духа человеческого да от переживания.

— Игорек... — растерянно сказал я.

Я потянулся к диктофону, желая его выключить. Черт с ним, с интервью, оно решительно не получалось.

— Не грожь мандулу! — заорал художник. — Пусть пишет!

Я испуганно отдернул руку и стал привставать.

— А ну — сидеть! — крикнул еще он.

Я плюхнулся на место.

— Я сейчас сам возьму у вас интервью! — отчетливо сказал художник.

— Игорек, Игорек! — испуганно захлопотала Олечка.

Я хотел было встать, отстраниться, сказать что-то моему собеседнику, объяснить, но ничего не успел, все происходило будто в замедленной съемке, но я и сам

был рабом этой же «съёмки»; Волатов неторопливо взял киянку, и прежде чем он ударил меня ею по темени, у меня зазвенело в ушах, пошла носом кровь, замелькало перед глазами, я ощущал себя как будто бы я был под водой, на большой глубине, и у меня уже нет ни сил, ни воздуха, чтобы вынырнуть оттуда.

Я не помню, чтобы я терял сознание. Но очнулся сидящим на скамье, там, где прежде сидела Олечка, руки у меня были связаны сзади (скотчем, сразу сообразил я), голова почти не болела, болела спина. Кажется, там была даже кровь, я упирался позвоночником во что-то острое, в гвоздь или крюк в стене.

— Пива, — глухо сказал я.

Волатова я увидел не сразу, он ходил весь растрепанный, и рубаха была раздернута на нем едва ли не до пупа. Может, мы с ним дрались? Нет, этого я не помнил.

— Налей ему, — велел он Олечке.

Та беспрекословно бросилась выполнять указание художника.

Я махнул несколько глотков с жадностью, больше же пить не мог.

Грудь моя была в бурой запекшейся крови, увидел я.

Волатов подступил ко мне с диктофоном, который он засовывал мне едва ли не в рот.

— Сам будешь рассказывать или вопросы задавать навоящие? — грозно спросил он.

— Послушайте... — слабо сказал я.

— Мандула тебя слушает, — ответил тот. — Ей все рассказывай!

— Не надо так близко держать, — попросил я. — Звук выйдет некачественный.

— Некачественный? — вздохнул он и отвел диктофон подальше. — Нам нужен качественный. Ну, что — вспомнил?

— Что вспомнил?

— Белоостров, например.

— Белоостров?

Размахнувшись, он ударил меня в скулу. Я взвыл. Но не от удара, гвоздь (или крюк) сзади впился мне в спину, именно он вызывал мои страдания. Олечка, стоявшая позади Волатова, вздрогнула, как будто ударили ее.

— Дождь, Белоостров, третьего дня... — настаивал художник. — Сильный такой дождь!

— Да, третьего дня был дождь, — припомнил я. — С утра и до ночи.

— И синий «пежо»!..

— Синий «пежо»?

Он снова ударил меня.

— Не бей его, Игорек, не надо, — тихо попросила Олечка.

— Белоостров, шоссе, дождь, синий «пежо» и ты за рулем, вспомнил?

— Дождь, да, дождь! Но не Белоостров — дом.

— Третьего дня? Где ты был третьего дня?

— Дома. Был дома, смотрел на дождь.

— Почему дома — не на работе?

— Болел, был болен!.. Хотел пойти, но потом...

— Кровь пошла носом?

— Пошла.

Волатов ударил меня сильнее прежнего. Я глухо застонал. Я приподнял руки за спиной и ухватился за торчащий из стены гвоздь. При следующем ударе художника тот мог бы проткнуть кожу и мышцы и пробить мне, положим, легкое. Я ощущал гвоздь, у того была сбита шляпка, и еще был заусенец, очень острый, именно он рассадил мне спину в кровь.

— Дождь, шоссе, ты за рулем, и на обочине — она, хрупкая, слабая, беззащитная, промокшая. Я сказал ей, чтобы она шла на автобус, но тогда надо было возвращаться километр под дождем, и она решила ловить машину. Ты проехал мимо, но потом остановился, сдал назад, предложил сесть. Вспомнил?

— Да-да, — зажмурившись, говорил я. — Беззащитная, промокшая, да.

— Во что была одета?

— Не помню. Кажется, плащ. Или — легкая куртка. У меня плохая память.

— Ну, конечно, ведь люди для тебя — мусор! Ведь так? Какая разница, во что они одеты!?

— Да, я не люблю людей, не люблю! Не могу их любить!

— Несомненно, ведь ты за рулем своего «пежо», а кругом дождь, а ты работаешь на радио, и поэтому ты считаешь себя королем жизни, ты можешь врываться в чужие судьбы и ломать их.

— У меня нет никакого «пежо».

— А дождь был?

— Дождь был.

Художник задумался.

— Тем хуже! Значит, «пежо» не твой. Ты — циничный охотник, ты подготовился заранее, ты взял чужую машину, ты искал, кого бы подвезти, такую вот чистую, доверчивую, юную женщину. Чтобы потом воспользоваться ею. И ты воспользовался! Так?

— Не знаю, не помню! Был дождь, я сидел дома.

Я боялся, что он меня снова ударит. Я обдирал скотч о заусенец, я хотел вовсе его разодрать.

— Так? — крикнул художник.

— Я вспоминаю, я пытаюсь вспомнить!.. — забормотал я.

— Игорек, ну зачем, зачем ты его мучаешь! — вступилась вдруг Олечка. — Что он тебе сделал?

— Она села рядом, и это была ее ошибка. Это ты ей велел сесть рядом? Говори! Говори! Чтоб мандула слышала!..

— На заднем сиденье...

— Что?

— Были коробки.

— Что в коробках?

— Ничего.

— Значит, коробки были пустыми, но она-то, бедняжка, этого не знала. Это ты подстроил заранее. Подлец, подлец!.. И она вынуждена была сесть рядом с тобой.

— Рядом со мной.

Скотч, кажется, начал поддаваться. Только бы художник не бил меня снова.

— Вы поехали...

— Поехали...

— Ты был говорлив, ты всегда говорлив!..

— Говорлив.

— Это-то ты умеешь! Профессионал! Ты включил музыку, в машине было тепло и сухо, ты положил ей руку на колено. Она попросила тебя убрать руку. Попросила?

— Попросила.

— Ты убрал руку?

— Убрал.

— О, да, ты убрал руку, ты не был слишком нагл, ты решил не торопиться. Ты все равно был уверен в своей победе. Ты был уверен?

— Был.

— Ты говорил, что работаешь на радио, и даже назвал волну. Назвал?

— Назвал.

— Вот. Это было неосторожно. Но ты всегда слишком уверен в собственной безнаказанности. Ты даже имя свое назвал. Ты назвал свое имя?

— Назвал.

— Какое?

— Не помню, не помню, забыл!..

— Конечно, не помнишь. Ведь ты его выдумал. Ты назвался не своим именем. Именем своего коллеги или приятеля. Ты свернул с шоссе на глухую дорогу. Там машин практически не бывает. «Куда мы едем?» — спросила тебя несчастная женщина. Что ты ей ответил, ну?

— «Так, просто едем!..» — ответил я.

— «Здесь объезд, впереди ведутся работы», — ответил ты.

— Да, я так ответил.

— Потом ты остановил машину... далеко от шоссе.

— Остановил.

— О, ты, конечно, не применял силу. Ты выше заурядного насилия, заламывания рук, разрывания одежды. Ты был мягок, но настойчив, очень настойчив. У бедняжки просто не было выбора: если б ты ее выкинул из машины, она пропала бы в таком глухом месте. И ты... ты... подлец... добился своего, ты ею воспользовался, моею женой, моею красавицей, моей единственной радостью!.. Так? Так? Говори! — страшно вскричал тот.

— Мандулу, — прошептал я. От скотча оставались уже лохмотья, чувствовал я.

— Что?

— Поднесите поближе. Я хочу сказать прямо в микрофон.

Он подошел совсем близко, он склонился надо мной.

— Ну!..

— Сейчас-сейчас!.. — я набрал полную грудь воздуха и сказал тихо, но отчетливо: — Я не был третьего дня в Белоострове, я никогда не видел вашей жены!

Тут я рывком освободил руки, стена мне мешала размахнуться, и я размахнулся, как смог, и изо всей силы ударил художника в лицо, в переносицу. Кровь хлынула у него из носа, я вскочил и еще раз ударил его сбоку, Олечка аж подпрыгнула на месте от неожиданной моей атаки, но, кажется, она была на моей стороне, и мансарда же... мансарда... да, она, наверное, тоже радовалась освобождению от многомесячной, многолетней тирании волатовского сумасшествия (а здесь было сумасшествие, я в этом не сомневался). И мансарда была за меня. Художник стал валиться от моих ударов. Быть может, оттого, что он был все-таки изрядно пьян, но я не дал ему упасть. Я схватил его за рубашку и развернул, я хотел усадить его на свое место и скрутить. Может, тоже связать руки скотчем. Но совершенно забыл про гвоздь в стене. Я толкнул его на скамью, он буквально рухнул на стену, напоролся на гвоздь, вдруг коротко ойкнул, захрипел и застыл. Диктофон упал на пол. Через несколько мгновений изо рта его потекла кровь. Крови было немного. Голова художника опустилась.

— Ты убил его, — прошептала испуганная Олечка. Она стояла у меня за спиной.

Я замер.

— Ты видела, он был сумасшедший, он хотел убить меня, ты подтвердишь, если что, — сказал я.

— Да, — сказала она. — Видела.

— Что-то надо делать, надо что-то с ним делать!..

Я подобрал диктофон. На столе лежали мой бумажник, мой телефон, очки.

— Я позвоню, — сказал я.

Я быстро отыскал номер Тамары. Она долго не снимала звонок, я стоял, я нервничал.

— Тамара! — наконец крикнул я. — Скажи, только честно, зачем ты меня отправила к этому твоему Волатову? Он, что, тебе или мне — кум, сват, брат? Ведь он неменяемый!..

— Лешка, я же Андрюху Макарова послала, ты все-таки сам поехал? — ответила Тамара. — Тебе уже лучше?

— Это не Лешка, это — Андрюха. А Игорек твой набросился на меня, я тут чуть кони не двинул по твоей милости.

— Так, Пигольцев, — несколько суше сказала Тамара. — Во-первых, я на радио тридцать лет работаю, и делать из меня дуру, которая не отличит твой голос от Андрюхиного, не надо. Во-вторых, Игорька я знаю с пятнадцати лет, и он даже муху не способен обидеть.

— Я не Пигольцев! Я — Макаров, Макаров!.. — крикнул я. — Он был пьян, Волатов твой, он набросился на меня, обвиняя, что я изнасиловал его жену. Я теперь весь в крови, он меня чуть не прикончил!..

— Леша, жена Волатова умерла десять лет назад, и с тех пор у него не то что жены, но даже и женщины, думаю, не было. Все, извини, у меня совещание. После поговорим!

— Последний вопрос! — крикнул я.

— Ну, — сказала Тамара.

— Я был третьего дня в Белоострове?

— Забыл, что ли? В Белоостров как раз Андрюха Макаров ездил, не ты! Отличный материал оттуда привез, кстати. Завтра в эфир пойдет! Все, пока!

Я стоял неподвижно. Я не знал, что сказать или подумать. Мансарда, эта проклятая мансарда подобрала меня под себя, она изогнула меня, перевернула, перекорежила, поставила на другие рельсы. Мне уж никогда не выйти отсюда непериодическим, непереплавленным, непорабощенным.

Олечка прижалась ко мне сзади.

— Лешенька, — сказала она, — ты правда меня не помнишь?

Я медленно обернулся.

— Я на два курса младше была, потом вообще университет бросила. А ты вот теперь знаменитость!.. И еще вечер новогодний, помнишь? Мы целовались!.. Как же было замечательно!.. Я ведь любила тебя. Я, это — я, Олечка Заикина! Теперь вот — Волатова. Лешенька!..

— Заикина? Волатова? — растерянно спросил я. — А что ж про тебя тогда Тамара не знает?

— Тамара — моя тетка родная, мы скрывали от нее, мы от всех скрывали, никто не знал. А Игорек еще как выпьет, так тоже начинает: кто ты такая, мол? Я знать, мол, тебя не знаю! Так вот и жили! Но вообще-то он, как говорится, боготворил меня. Пылинки сдувал. Последняя любовь Пикассо.

— А картины его, значит, ты попалаила?

— Да сам он. Всё во двор вынес, на куски порезал, сложил аккуратно да и пожег. Потом сидел, плакал, а я его утешала. Что с человеком делается? Старость, наверное.

Тут захрипел Волатов, мы с Олечкой разом обратились в его сторону. Он заерзал на скамье и вдруг с коротким стоном сдернулся с гвоздя, на который он и впрямь напоролся изрядно. Скамья была в крови, густой, почти черной. Волатов стал на карачки и медленно пополз в нашу сторону.

— Пива дайте, сволочи!.. — болезненно сказал он.

— Дай ему пива, Лешенька, — велела женщина.

Я налил полный стакан пива и понес Волатову.

— Погоди! — строго сказала Олечка.

Я застыл на месте, двух шагов не дойдя до художника. Олечка подошла к нам обоим.

— Игорек, ты понимаешь, что ты вел себя как жалкая чушка? — сказала она.

— Понимаю, — шепнул художник.

— А ты понимаешь, что я не стану жить с жалкой чушкой, а стану жить только с сильным мужчиной, а ты не сильный мужчина, а жалкая чушка, а сильный мужчина — Лешенька, ты понимаешь?

— Понимаю, — снова шепнул тот.

— Точно понимаешь?

— Точно.

— Тогда скажи: гав!

— Гав, — сказал художник.

— Еще, — сказала Олечка.

— Гав-гав! — сказал художник.

— Дай ему пива, — позволила Олечка.

Пиво Волатов выпил с жадностью. После бросил стакан на пол.

— Вот, Лешенька, теперь ты — художник, — сказала Олечка, снова прижимаясь ко мне. — Ты любил рисовать раньше, вот и рисуй. Рисуй себе спокойно — не думай ни о чем! Живем мы здесь тихо, скромно, никого у нас, почитай, не бывает. Ты будешь картины писать, много-много картин, и мы станем говорить, что это картины художника Волатова. А я тебя любить буду!.. Я ведь такая верная, ты даже не знаешь, какой я верной могу быть, Лешенька, Лешенька!

— А со мной что сделаете? — глухо спросил художник. — На куски порежете?

— А ты работать вместо Лешеньки пойдешь. Скажем, что он заболел, кровь у него носом идет, вот ты его и замещаешь. Ты хоть и дурачок, но ты справишься! Ты уж умеешь брать интервью. Понял, что ль?

— Гав, — сказал Волатов.

— Ты-то, Лешенька, как? Ты-то согласен?

— С чем?

— Художником быть. Возьмешь меня в свои самые-самые верные жены? Свою милую-милую Олечку!.. Мы будем всегда вместе, и нам будет хорошо-хорошо! Как в тот вечер, когда мы с тобой целовались. Ведь так, Лешенька, так? Ты возьми меня, Лешенька?

— Гав, — сказал я.

И выключил диктофон.